

## ПЕРВАЯ ТРАПЕЗА

### 1

В теплые дни от стен моего дома поднимается слабый запах молока. Стены давно уже затерты и покрыты штукатуркой, и земля под плитками пола тоже плотно утрамбована, но слабый запах молока все равно сочится из мельчайших пор и трещин, упрямый и вкрадчивый, как испарина забытой любви.

Когда-то здесь был коровник. Жилище жеребца, ослицы и нескольких дойных коров. Большие деревянные ворота были в нем, перехваченные по всей ширине железным засовом, бетонные кормушки, бычья упряжь, хомуты, стойла, доильные клетки, молочные бидоны.

И жила в том коровнике женщина — работала там, и спала там, и видела там сны, и плакала во сне. И там же, на мешках из-под корма, родила себе сына.

Голуби важно расхаживали по гребню крыши, а в углах под стропилами трудились ласточки, склеивая свои гнезда из комочков глины и грязи, и непрерывное трепетанье их крыльев было таким упоительным, что я слышу его и по сей день, — оно поднимается из колодцев моей памяти и размягчает мое лицо, разглаживая борозды, прорезанные возрастом и гневом.

По утрам солнце вычерчивало на стенах квадраты окон и золотило танцующие в воздухе пылинки. Роса сгущалась в крышках бидонов, и по кучам соломы юркими серыми молниями пронеслись полевые мыши.

Ослица, пересказывала мне мать воспоминация, которые хотела сохранить во мне, была своевольная и очень себе на уме, она лягалась даже во сне, а когда ты, Зейде, забирался к ней на спину, она тут же мчалась к выходу, нагибалась и протискивалась под засовом, и если ты не успевал спрыгнуть, Зейделе, майн кинд\*, железная полоса сваливала тебя на землю. А еще эта ослица умела воровать ячмень у лошади, хохотать во весь голос и стучать копытом в дверь, требуя конфету.

И могучий эвкалипт рос там во дворе, широко раскинув над ним вечно шелестящую душистую крону. То ли кто неведомый когда-то посадил его здесь, то ли невесть какой ветер занес сюда его семя. Куда громадней и старше годами всех своих собратьев из ближней эвкалиптовой рощи, высился он здесь и ждал в одиночестве задолго до основания деревни. Я не раз забирался на его вершину, потому что там гнездились вороны, а меня уже тогда интересовали повадки ворон.

Сейчас моя мать давно уже умерла, и то могучее дерево срублено, и тот коровник стал моим домом,

\* Мой мальчик (*идиш*). (Здесь и далее — примеч. переводчиков.)

и те прежние вороны давно сменились другими, а те тоже обратились во прах, и новые вылупились из яиц им на смену. Но, несмотря на все это, те, бывшие вороны, и те рассказы, и тот коровник, и тот эвкалипт — все они заякорены в моей памяти, все они врезаны в нее навсегда.

Дерево было метров двадцати в высоту, вороны гнездились у самой его вершины, а в развилке нижних ветвей еще можно было разглядеть остатки «тарзаньей хижины», сооруженной когда-то ребятишками, которые забирались сюда и прятались здесь задолго до моего рождения.

На старых аэрофотоснимках британских пилотов и в рассказах деревенских стариков этот эвкалипт виден еще отчетливо и резко, но сегодня о нем напоминает лишь чудовищный пенек с выжженной на нем, точно дата смерти человека, датой кончины дерева: 10 февраля 1950 года. В тот день Моше Рабинович — человек, во дворе которого я вырос и в коровнике которого живу, человек, который дал мне свою фамилию и завещал свое хозяйство, — вернулся с похорон моей матери, наточил большой топор и предал проклятое дерево смертной казни.

## 2

Три дня подряд рубил он этот эвкалипт.

Снова и снова взлетал топор и опускался — снова и снова. Человек шел по кругу и врубался со всех

сторон, и со стоном поднимал топор, и опускал — с хаканьем и стоном.

Невысокого роста он, Моше Рабинович, но плотный и широкий, с толстыми короткими руками. За силу и выносливость, даже под старость, в деревне называют его Быком, и вот уже третье поколение детей играет с ним в «страшного медведя»: он загребает в свою широкую ладонь сразу три тонкие детские ладошки, а дети, крича и хохоча, пытаются вырваться из его тисков.

Разлетались в стороны щепки и насадные стоны, капали пот и слезы, взметались и танцевали вокруг снежные хлопья, и хоть у нас в деревне чуть не о каждом воспоминании идут бесконечные споры, но об этой страшной мести никто не спорит, и даже малые дети знают о ней во всех подробностях:

Дюжину полотенец перевел Рабинович, вытирая лицо и затылок.

Восемь топорищ сломал он и сменил.

Двадцать четыре литра воды и шесть кувшинов чая он выпил.

Каждые полчаса он заново затачивал топор на точильном круге и правил лезвие стальным напильником.

Девять буханок хлеба с колбасой он за это время умял и целый ящик апельсинов.

Семнадцать раз ложился он на снег и шестнадцать раз поднимался и начинал рубить снова. И все это время все тридцать два его зуба были стиснуты и десять

пальцев плотно сцеплены друг с другом, и плачущее дыхание стлалось туманом в холодном воздухе, пока не раздался сильный, скрежещущий треск и послышались негромкие вздохи стоявших вокруг людей, похожие на тот шумок, что поднимается в Народном доме, когда гаснет свет, только громче и тревожней.

А потом — испуганные возгласы и топот разбегающихся ног, и за ними — тот смертный шум, который не с чем сравнить, кроме как с ним самим: шум падения и смерти огромного дерева, который никто из слышавших никогда не забудет, — внезапный, как взрыв, треск разламывающегося ствола, и нарастающий гул падения, и хлещущий, свистящий звук удара о землю.

Конечно, смерть человека сопровождают другие звуки, но ведь и при жизни звуки, сопровождающие дерево и человека, тоже различны, и разную тишину оставляют они после своего ухода.

Тишина после падения срубленного дерева — она как темная завеса, которую тут же разрывают тревожные возгласы людей, секущие порывы ветра да испуганные крики птиц и животных. А тишина, что заполнила мир после смерти моей матери, — чиста и светла была она, словно прозрачный хрусталик глаза, и такой же светлой остается, не истаивая, и поныне.

Вот она — всегда со мной, рядом со всеми прочими звуками мира. Она не вбирает их в себя, и они не смешиваются с нею.

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ ТРАПЕЗА

5

ВТОРАЯ ТРАПЕЗА

132

ТРЕТЬЯ ТРАПЕЗА

259

ЧЕТВЕРТАЯ ТРАПЕЗА

409